



## **А. И. УЛЬЯНОВА-ЕЛИЗАРОВА\***

### **О В. И. Ленине и семье Ульяновых\*\***

<Фрагменты>

#### **Детские и юношеские годы Владимира Ильича**

Владимир Ильич родился в Симбирске 10 (22) апреля 1870 года. Он был третьим ребенком в семье.

Живой, бойкий и веселый, он любил шумные игры и беготню. Он не столько играл игрушками, сколько ломал их. Лет пяти он выучился читать, затем был подготовлен приходским учителем Симбирска к гимназии, куда и поступил в 1879 году осенью, девяти с половиной лет, в первый класс.

Учение давалось ему легко. С младших классов шел он лучшим учеником и, как таковой, получал при переходе из класса в класс первые награды. Они состояли в то время из книги с вытисненным на переплете золотом «За благонравие и успехи» и похвального листа. Кроме прекрасных способностей, лучшим учеником его делало серьезное и внимательное отношение к работе. Отец приучал к этому с ранних лет его, как и его старших брата и сестру, следя сам за их занятиями в младших классах. Большое значение имел также для маленького Володи пример отца, матери, постоянно занятых и трудящихся, и особенно старшего брата Саши. Саша был на редкость серьезный, вдумчивый и строго относящийся к своим обязанностям мальчик. Он отличался также не только твердым,

---

\* *Ульянова-Елизарова А. И.* (1864–1935) — старшая сестра Владимира Ульянова. Один из организаторов Института Ленина и ИМЭЛ (Институт Маркса, Энгельса, Ленина).

\*\* *Ульянова-Елизарова А. И.* В. И. Ульянов (И. Ленин). Краткий очерк жизни и деятельности. М., 1934. С. 136–146. «Детские и школьные годы Ильича» написаны в 1925. Книга, вышедшая в начальный период пропаганды ленинизма, предназначалась не только маленьким читателям, но и малограмотным взрослым. Первое издание «Воспоминаний об Ильиче» — 1926 г.

но и справедливым, чутким и ласковым характером и пользовался большой любовью всех младших. Володя подражал старшему брату настолько, что мы даже посмеивались над ним, — с каким бы вопросом к нему ни обратиться, он отвечал неизменно одно: «Как Саша». А если пример важен в детстве вообще, то пример несколько старших по возрасту братьев важнее примера взрослых.

Вследствие привычки серьезно относиться к делу, Володя, как он ни был шаловлив и боек, на уроках слушал внимательно. Эта большая внимательность, как отмечали в то время его учителя, вместе с бойкими способностями давала ему возможность хорошо усваивать еще в классе всякий новый урок, так что ему почти не приходилось повторять его дома. Помню, как быстро оканчивал он уроки в младших классах, а потом начинал шалить, ходил колесом и мешал нам, старшим, учившимся в той же комнате. Отец уводил его иногда к себе в кабинет, чтобы проверить уроки, и спрашивал латинские слова по всей тетради, но обычно Володя все знал. Много также читал он в детстве. Отцу присылали все вновь выходящие детские книги и журналы; подписывались мы и в библиотеке

Постоянной подругой игр Володи была сестра Оля (родилась 4 ноября 1871 г.). Очень способная, живая и бойкая девочка, она четырех лет выучилась около него читать и училась тоже очень легко и охотно. Кроме того, напоминая некоторыми чертами характера брата Сашу, Оля была чрезвычайно трудолюбива. Помню, как в одном из последних классов гимназии Володя, слушая из соседней комнаты бесконечные этюды Оли на фортепиано, сказал мне: «Вот чьей работоспособности можно позавидовать». Сознав это, Володя стал развивать и в себе трудоспособность, которой все мы удивлялись в его позднейшие годы и которая, наряду с его прекрасными способностями, помогла ему достичь таких блестящих результатов.

Охотно делился Владимир Ильич своими познаниями с товарищами по школе, объясняя им трудные уроки, задачи, сочинения и переводы с греческого и латинского. А в последних двух классах гимназии он, кроме своих уроков, занимался с одним учителем чувашенином, подготавливая его к выпускному экзамену для поступления в университет. Занимался бесплатно, так как платить последнему было нечем. И Владимир Ильич подготовил-таки своего ученика, несмотря на его малоспособность. Он сдал экзамен и смог заниматься в университете своей любимой математикой.

Пришлось и мне лично, на самой себе познакомиться с Владимиром Ильичем как с преподавателем, хотя он был на пять с лишним лет моложе меня и был еще гимназистом, а я была уже на предпоследнем курсе Высших женских курсов. И тем не менее он помог мне ликвидировать один прорыв. Весной 1886 года

мне предстояло сдать несколько экзаменов, в том числе латынь за целых три года. Латынь была тогда обязательным предметом на историко-словесном отделении. Преподавалась она в те годы преобладания классического образования очень казенно и была в забросе у меня, как и у большинства курсисток. Молодежь по окончании гимназической учебы тянулась, понятно, к чему-либо более живому и общественному, и я порывалась даже, чтобы бросить латынь, перейти в вольнослушательницы московских курсов. Когда этот план был оставлен, мне пришлось взяться за латынь всерьез, и я намечала подогнать ее во время зимних каникул, но ничего сделать не успела. А после смерти отца (12 января 1886 года) все занятия пошли у меня особенно туго, и латынь не двигалась с места. Тогда Володя предложил помочь мне в этом, несмотря на то что у него и у самого в предпоследнем классе гимназии было немало уроков и он занимался еще с учителем чувашской школы Охотниковым. Мальчик, которому не исполнилось еще 16 лет, взял на себя так легко и охотно эту новую обузу. И не только взял — мало ли за что готова бывает взяться сгоряча молодежь, чтобы бросить при первом же затруднении, — а вел занятия очень серьезно и усидчиво и продолжал бы их, если бы я не уехала в марте в Петербург. И вел их так внимательно, с такой живостью и интересом, что вовлек скоро в «противную латынь» и меня. Пройти предстояло много, требовалось прочесть и перевести Юлия Цезаря «О старости», а главное, знать и уметь объяснять все встречающиеся правила сложной латинской грамматики. Я испытывала, конечно, чувство неловкости, что не сумела преодолеть своего прорыва самостоятельно, а прибегла к помощи младшего брата, который сам-то умел работать без прорывов. Была тут, несомненно, и некоторая доза ложного самолюбия, что я стала заниматься под руководством младшего брата-гимназиста. Но занятия у нас пошли так оживленно, что скоро всякое чувство неловкости исчезло. Помню, что Володя отмечал для меня с увлечением некоторые красоты и особенности латинского стиля. Конечно, я слишком мало знала язык, чтобы уметь оценить их, и занятия сосредоточивались больше на объяснении разных грамматических форм, свойственных латинскому языку, как супинум герундий и герундив (отглагольное прилагательное и существительное), и изобретенных для более легкого запоминания изречений и стихотворений вроде (герундив):

Gutta cavat lapidem  
Non vi sed saepe cadendo;  
Sic homo sit doctus  
Non vi sed multo studendo.

Капля камень долбит  
Не силой, а частым паденьем,  
Так человек становится ученым,  
Не силой, а многим ученьем.

Помню, что я высказывала Володе сомнение, чтобы можно было пройти в такой короткий срок восьмилетний курс гимназии, но Володя успокаивал меня, говоря: «Ведь это в гимназиях, с беспотково поставленным преподаванием там, тратится на этот курс латыни восемь лет, — взрослый, сознательный человек вполне может пройти этот восьмилетний курс в два года», и в доказательство указывал мне, что пройдет его в два года с Охотниковым, и действительно прошел, несмотря на более чем посредственные способности последнего к изучению языков. Очень оживленно, с большой любовью к делу шли у нас занятия. Это не был первый ученик, усердно вызубривший уроки, — это был, скорее, молодой лингвист, умевший находить особенности и красоты языка.

Так как вкус к языковедению был присущ и мне также, я была очень скоро покорена, и эти занятия, перемежаемые веселым смехом Володи, очень подвинули меня вперед. Я сдала весной успешно экзамен за три года, а через несколько лет знание основ латыни облегчило мне изучение итальянского языка, которое дало мне возможность иметь заработок и доставило много удовольствия.

Любопытно отметить, что некоторые современные писатели находят в стиле Ленина сходство с латинским классическим стилем (см. статьи Эйхенбаума, Якубовского и Тынянова в журнале «Леф»).

В 1886 г., когда Володе не исполнилось еще 16 лет, умер его отец, Илья Николаевич, а годом позже семью постигло другое тяжелое несчастье: за участие в покушении на царя Александра III был арестован, приговорен к смертной казни и затем казнен — 8 мая 1887 г. — его старший любимый брат Александр. Несчастье это произвело сильное впечатление на Владимира Ильича, закалило его, заставило серьезнее задуматься над путями, которыми должна была идти революция. Собственно, уже и Александр Ильич стоял на перепутье между народолюбцами и марксистами. Он был знаком с «Капиталом» Карла Маркса, признавал намеченный им ход развития, что видно из составленной им партийной программы. Он вел кружки среди рабочих. Но почва в то время для социал-демократической работы еще не было. Рабочих было мало; они были разъединены и неразвиты; к ним тогда было трудно подступиться интеллигентам, да и гнет царского деспотизма был так силен, что за малейшую попытку общения с народом сажали в тюрьму, высылали в Сибирь. И не только с народом: если сту-

денты-товарищи организовывали какие-нибудь самые невинные кружки для чтения, для общения друг с другом, то кружки разгоняли, а студентов высылали на родину. Лишь те из молодежи, кто помышлял только о карьере да о спокойном проживании, мог оставаться безразличным к такому режиму. Все более честные, искренние люди рвались к борьбе, прежде всего, рвались хотя немного расшатать те тесные стены самодержавия, в которых они задыхались. Самым передовым это грозило тогда гибелью, но и гибель не могла утратить мужественных людей. Александр Ильич принадлежал к числу их. Он не только, не задумываясь, оставил университет и любимую науку (его прочили в профессора), когда почувствовал, что не в силах больше терпеть давящий всю страну произвол, но, не задумываясь, отдал и жизнь. Он взял на себя рискованные работы по подготовке снарядов и, признаваясь в этом на суде, думал только о том, чтобы выгородить товарищей.

Александр Ильич погиб как герой, и кровь его заревом революционного пожара озарила путь следующего за ним брата, Владимира.

Несчастье это случилось как раз в год окончания Володей гимназии.

Несмотря на свои тяжелые переживания, которые он сумел выносить с большой твердостью, Володя, как и сестра Оля, окончил в этом году гимназию с золотой медалью.

Естественно, что тучи от пронесшейся над семьей грозы сгустились и над головами остальных ее членов, что на следующего брата власти склонны были смотреть очень подозрительно, и можно было опасаться, что его ни в какой университет не пустят.

Тогдашний директор симбирской гимназии Ф. Керенский очень ценил Владимира Ильича, относился очень хорошо к умершему за год перед тем отцу его, Илье Николаевичу, и желал помочь талантливому ученику обойти эти препятствия. Этим объясняется та в высшей степени «добронравная» характеристика его, которая была направлена Керенским в Казанский университет и подписана другими членами педагогического совета. Покойный Илья Николаевич был очень популярной, любимой и уважаемой личностью в Симбирске, и семья его пользовалась вследствие этого большой симпатией. Владимир Ильич был красой гимназии. В этом характеристика Керенского совершенно верна. Правильно также указывает он, что это происходило не только вследствие талантности, но и вследствие усердия и аккуратности Владимира Ильича в исполнении требуемого, качеств, воспитанных той разумной дисциплиной, которая была положена в основу домашнего воспитания.

Керенский, конечно, с целью подчеркивает, что в основе воспитания лежала религия, так же как старается подчеркнуть «излишнюю замкнутость», «нелюдимость» Владимира Ильича Говоря, что «не было ни одного случая, когда Ульянов словом или делом вызвал бы непохвальное о себе мнение», Керенский даже грешит немного против истины. Всегда смелый и шаловливый, метко подмечавший смешные стороны в людях, брат часто подсмеивался и над товарищами, и над некоторыми преподавателями. Одно время Владимир Ильич взял мишенью для насмешек учителя французского языка, по фамилии Пор.

Этот Пор был очень ограниченный фат, говорят, повар по профессии, пролаза, женившийся на дочке симбирского помещика и пролезший через это в «общество». Он терся постоянно около директора или инспектора; порядочные педагоги относились к нему с пренебрежением. Разобиженный вконец, он настоял на четверке из поведения дерзкому ученику в четверть.

Ввиду того что брат был уже в седьмом классе, это происшествие пахло серьезным. Отец рассказал мне о нем зимой 1885 года, когда я приехала на каникулы, добавив, что Володя дал ему слово, что этого больше не повторится.

Но разве не в таких же пустяках коренилось часто исключение и порча всего жизненного пути непокорному юноше?! Отношение к отцу и ко всей семье, а также исключительная талантливость Владимира Ильича избавили его от этого.

На тех же соображениях, что и характеристика Керенского, основывалось решение моей матери не отпускать Владимира Ильича в университет одного, а переехать в Казань всей семьей.

В Казани была снята с конца августа 1887 года квартира в доме б. Ростовый, на Первой горе, откуда Владимир Ильич переехал через месяц со всей семьей на Ново-Комиссариатскую, в дом Соловьевой.

В те годы затишья и безвременья, когда «Народная воля» была уже разбита, социал-демократическая партия еще не зародилась в России и массы еще не выступали на арену борьбы, единственным слоем, в котором недовольство не спало, как в других слоях общества, а проявлялось отдельными вспышками, было студенчество.

В нем всегда находились честные, горячие люди, открыто возмущавшиеся, пытавшиеся бороться. И его поэтому давила всего сильнее лапа правительства. Обыски, аресты, высылки — все это обрушивалось всего сильнее на студентов. С 1887 года гнет еще усилился, вследствие попытки покушения на жизнь царя, произведенной весной этого года в Петербурге, участниками которой были почти одни студенты.

Мундиры, педея, самый тщательный надзор и шпионство в университете, удаление более либеральных профессоров, запрещение всяких организаций, даже таких невинных, как землячество, исключение и высылки многих студентов, бывших хотя сколько-нибудь на примете, — все это подняло настроение студентов с первых же месяцев академического года.

Волна так называемых «беспорядков» прошла с ноября по всем университетам. Докатилась она и до Казани.

Студенты Казанского университета собрались 4 декабря, шумно требовали к себе инспектора, отказывались разойтись; при появлении последнего предъявили ему ряд требований — не только чисто студенческих, но и политических. Подробности этого столкновения, переданные мне в свое время братом, не сохранились в моей памяти. Помню только рассказ матери, ходившей хлопотать о нем, что инспектор отметил Володю, как одного из активнейших участников сходки, которого он видел в первых рядах, очень возбужденного, чуть ли не со сжатыми кулаками. Владимир Ильич был арестован на квартире с 4 на 5 декабря и просидел несколько дней с другими арестованными при участке (всего 40 человек). Все они были высланы из Казани. В. В. Адоратский рассказывает о переданном ему позднее Владимиром Ильичем следующем разговоре с приставом, отвозившим его после ареста.

— Что вы бунтуете, молодой человек? Ведь перед вами стена.

— Стена, да гнилая, ткни — и развалится, — ответил, не задумываясь, Владимир Ильич.

Вся история с исключением произошла очень быстро. Владимир Ильич был выслан в деревню Кокушкино, в 40 верстах от Казани, в благоприобретенное имение деда его по матери Александра Дмитриевича Бланка, где в то время проживала под гласным надзором сестра его Анна (пишущая эти строки), которой пятилетний гласный надзор в Сибири был заменен, по ходатайству матери, высылкой в эту деревню. Пятая часть этого имения принадлежала моей матери, и во флигеле одной из двух хозяйничавших там теток, очень холодном и неблагоустроенном, провела наша семья (некоторое время спустя мать с меньшими переселилась тоже в Кокушкино) зиму 1887/88 года.

Никаких соседей у нас не было. Провели мы зиму в полном одиночестве. Редкие приезды двоюродного брата да посещения исправника, обязанного проверять, на месте ли я и не пропагандирую ли я крестьян, — вот и все, кого мы видели. Владимир Ильич много читал — во флигеле был шкаф с книгами покойного дяди очень начитанного человека, были старые журналы с ценными статьями; кроме того, мы подписывались в казанской библиотеке,

выписывали газеты. Помню, каким событием были для нас оказии из города и как нетерпеливо раскрывали мы заветный пещер (корзинка местной работы), содержащий книги, газеты и письма. Равно и обратно при оказии пещер нагружался возвращаемыми книгами и почтой. Связано у меня с ним и такое воспоминание. Раз вечером все сидели за корреспонденцией, готовя почту, которую должен был забрать ранним утром в упакованном пещере работник тетки.

Мне бросилось в глаза, что Володя, обычно почти не писавший писем, строчит что-то большое и вообще находится в возбужденном состоянии. Весь пещер был нагружен; мать с меньшими уже улеглись, а мы с Володией сидели еще, по обыкновению, и беседовали. Я спросила, кому он писал. Оказалось, товарищу по гимназии, поступившему в другой — помнится, в один из южных — университет. Описал в нем, конечно, с большим задором студенческие беспорядки в Казани и спрашивал о том, что было в их университете.

Я стала доказывать брату никчемность отправки такого письма, совершенно бесплодный риск новых репрессий, которым он себя этим шагом подвергал. Но переубедить его было всегда нелегко. В повышенном настроении, прохаживаясь по комнате и с видимым удовольствием передавая мне те резкие эпитеты, которыми он награждал инспектора и других властей предрержащих, он подсмеивался над моими опасениями и не хотел менять решения. Тогда я указала ему на риск, которому он подвергает товарища, отправляя письмо такого содержания на его личный адрес, на то, что товарищ этот, может быть, находится тоже среди исключенных или состоящих на примете и подобное письмо принесет ухудшение его участи.

Тут Володя призадумался, а потом довольно быстро согласился с этим последним соображением, пошел в кухню и вынул, хотя и с видимым сожалением, из пещера злополучное письмо.

Позднее, летом, я имела удовольствие услышать от него в одной беседе по какому-то случаю между нами и двоюродной сестрой полусушутливое, полусерьезное заявление, что за один совет он мне благодарен. Это произошло после того, как он перечел провалявшееся несколько месяцев в его ящике письмо и подверг его уничтожению.

Кроме чтения Владимир Ильич занимался в Кокушкине с младшим братом, ходил с ружьем, зимой на лыжах. Но это была его первая, так сказать, проба ружья, и охота была всю зиму безуспешная. Я думаю, что это происходило и потому, что охотником в душе, как другие два брата мои, он никогда не был.



Но жизнь протекала, конечно, скучно в занесенном снегом флигельке, и тут-то и помогла Володе привычка к усиленным занятиям. Помню особенно ярко крутую, раннюю весну, после этой утомившей нас одинокой зимы, первую весну, проводимую нами в деревне. Помню долгие прогулки и беседы с братом по окрестным полям под аккомпанемент неумолчно заливавшихся невидимых жаворонков в небе, чуть пробивавшуюся зелень и белеший по оврагам снег...

Летом приехали двоюродные братья — у Володи появились товарищи для прогулок, охоты, игры в шахматы, но все это были люди без общественной жилки и интересными собеседниками для Володи быть не могли. Они, хотя и более старшие, сильно пасовали перед метким словцом и лукавой усмешкой Володи.

С осени 1888 года Владимиру Ильичу разрешено было переселиться в Казань, куда переехала мать с меньшими. Несколько позже дозволено было перебраться туда и мне.

<...>

### Тайна шахматного столика

Шахматный столик для партий вчетвером с потайным выдвигающимся плоским ящичком служил хранилищем для нелегальных рукописей, писем и печатных материалов в нашей семье. Заказанный по рисунку, сделанному моим мужем, Марком Тимофеевичем Елизаровым, в 1900 году в Москве, он исколесил вместе с нами всю Россию, передвигаясь в Самару, Киев, Петербург, Саратов, Вологду, опять в Петербург и снова в Москву.

Первоначальная идея столика принадлежала Владимиру Ильичу, который со времени своего переезда в Петербург осенью 1893 года и начала нелегальной работы развивал мысль о необходимости каждому иметь у себя какое-нибудь потайное хранилище для нелегальщины. «Например, — говорил он, — круглый столик с выдолбленной ножкой».

В 1894–1895 годах он осуществил этот план, заказав в Петербурге через товарищей-рабочих, участвовавших в организации, такой столик. Его единственная толстая ножка, от которой шли, как обычно, три расходящиеся короткие ножки, была выдолблена. Точеная пуговица, которой оканчивалась ножка, отвертывалась, и в отверстие можно было засунуть довольно большой сверток.

Столик выдержал свой первый экзамен в ночь ареста Владимира Ильича 9 декабря 1895 года. Полиция не проникла в его тайну, и ничего нелегального поэтому у Владимира Ильича взято не было. Он перешел затем во владение Надежды Константиновны и у нее оправдал себя, будучи перевезен ко мне ее матерью после ее

ареста 9 августа 1896 года с содержимым: с переписанной частью объяснений к программе социал-демократической партии, которые Владимир Ильич посылал из тюрьмы написанными молоком между строк книги.

Продолжая работу по расшифровке и переписке объяснений, я также перед каждой ночью начинала результатами своей работы ножку столика, а законченные главы относила А. Н. Потресову, который передавал их в какую-то надежную квартиру. Так поступила я и с последним свертком переписанного, опустошив столик. Через пару дней мы должны были уехать с матерью на рождественские праздники в Москву, к остальной части семьи. Накануне или в день отъезда ко мне пришла А. М. Калмыкова и сообщила об аресте Потресова. Но программу, сказала она, он успел передать в верное хранилище. Помнится, что я говорила о столике Александре Михайловне. Но куда он попал и дальнейшая судьба его мне неизвестна. Правда, он дал уже трещину от торопливо ввертываемой пуговицы и нуждался в ремонте.

Большим неудобством хранилища этой конструкции было то, что для вкладывания в него рукописей приходилось всякий раз переворачивать столик ножкой вверх. И вот муж мой надумал другую конструкцию, которая была осуществлена в шахматном столике. Тут приходилось вынимать только один ящичек, и дело шло так быстро, что иногда мы вкладывали кое-что уже после ночного звонка, возвещавшего о прибытии «гостей». Но обычно, не дожидаясь ночи, очищали при помощи столика квартиру. И постоянно в потайном ящичке что-нибудь да хранилось.

Этот столик выдержал еще более длительный экзамен. С 1902 года, когда были арестованы в Москве Марк Тимофеевич и Мария Ильинична, до февраля 1917 года, когда была арестована перед самой революцией я, ни разу, ни при одном из всех обысков, которым подвергалась наша семья, столик не выдал себя. Нас спрашивали иногда о содержимом его ящичков, мы приносили ключи и, как бы для проформы порывшись в наполнявших их разноцветных шахматах, ящички задвигали вновь и переходили к столам, содержавшим книги и бумаги.

Не раз было, что столик выручал нас от серьезных последствий. И он, можно сказать, спас меня и сестру Марию Ильиничну от каторги в Киеве в 1904 году, когда в его потайном ящичке хранился весь архив ЦК, выбранного на II съезде партии в 1902 году. Никаких данных против нас, кроме шпионских показаний, не оказалось, и мы были освобождены через полгода до окончания дела.

Последней перед революцией зимой 16–17 года у меня было на Широкой улице три обыска. Столик не вызвал, как и раньше,

ни малейшего подозрения, сохраняя и революционные листки местного происхождения, и номера заграничной газеты «Социал-демократ», и переписанные с химических чернил письма Ильича ко мне, к некоторым товарищам, в ЦК и в ПК партии, и черновики ответных ему писем. Переписка шла у нас с Ильичем без перерывов до самой революции.

Поистине столик заслужил себе пенсию!

Для хранения нелегалщины в небольших размерах — писем, адресов — имелись у нас и другие хранилища: папки и книжные переплеты из двойных листов картона, удобные также для перевозки; книжная полочка у сестры с полыми досками, крышка на кухонное ведро, зеркальце с выдолбленной задней доской.

В переплетах же книг, нот, альбомов получали мы из-за границы номера «Искры», «Вперед», «Пролетария» на специальной тонкой бумаге. Вклеивались эти номера в картон гравюр.

<...>

### Письма В. И. Ленина к родным (1910–1916 гг.)

Письма Владимира Ильича с 1910 г. до революции сохранились у меня в меньшем количестве и не могут быть объединены вокруг какого-нибудь дела, как письма 1897–1899 или письма 1908–1909 гг.

От 1910 г., когда я много кочевала, прежде чем основалась в Саратове, осталось два письма Владимира Ильича от 13 февраля 1910 г. к М. А. Ульяновой в Москву и от 2 мая ко мне, А. И. Елизаровой, в Саратов. В первом из них он говорит о «делишках», от которых «освободился», имея в виду пленум ЦК в январе 1910 г. Там же благодарит он за посланные ему шахматы. Эти шахматы, являвшиеся у нас семейной драгоценностью, мать послала ему как дорогие по памяти: они были выточены собственноручно отцом еще в бытность его в Нижнем Новгороде, и в них играли всегда и отец и братья. Шахматы эти после ареста Владимира Ильича при начале мировой войны, а затем поспешного отъезда его из Кракова остались там и пропали.

В письме ко мне он выражает желание иметь хоть изредка «весть “из глубины России” про то, что делается в новой деревне. Сведений об этом мало, и просто побеседовать даже с знающим человеком было бы очень приятно». По этому поводу Владимир Ильич выражает сожаление, что «алакаевский сосед» (А. А. Преображенский), которому он шлет привет, «если удастся его увидеть», такой абсолютный враг переписки.

Шлет он привет и «северному маньчжурцу», под которым подразумевает своего старого самарского приятеля А. П. Складенко.

Владимир Ильич называет его «маньчжурцем», потому что он провел несколько лет в Маньчжурии, и «северным», потому что в то время он находился в ссылке в Вологодской губ. Его жена с ребенком жила тогда в Саратове, и через нее посылала я Владимиру Ильичу и от него обратно приветы Скляренко. Затем Владимир Ильич пишет о М. Ф. Владимирском — моем товарище по работе в первом Московском комитете РСДРП, находившемся тогда в эмиграции.

Та «сугубая склока», о которой он пишет в конце, из-за которой «из рук вон плохо идут занятия», обозначает разногласия с Заграничным бюро ЦК и с группой «Вперед». Этим же неоднократно высказываемым Владимиром Ильичем желанием получить сведения и рассказы о впечатлениях от деревни и от Волги были вызваны подробные письма с такими рассказами, которые посылал ему Марк Тимофеевич Елизаров. В своем ответном письме от 3 января 1911 г. Владимир Ильич высказывает свое удовольствие по поводу двух таких писем Марка Тимофеевича и извиняется за неаккуратность ответов, вызываемую особенно «склочным» временем (продолжение тех же разногласий).

В том же письме Владимир Ильич советует сестре Марии Ильичичне «не рваться в отъезд», то есть не стремиться в Москву, где после работы 1909–1910 гг. и обыска там весной 1910 г., а главное, после ареста в декабре 1910 г. С. Н. Смидович и А. П. Смирнова ей было неудобно поселяться (об этом аресте предупреждает в письме от 1 февраля Надежда Константиновна: «В Москве заболела Танина мать»).

«Материальные условия продолжают быть неважными: издателя не нашел, а также нет ответа относительно статьи из «Современного мира» В ответ на это сообщение о плохом положении финансов мать предлагала, очевидно, посылать ему из своей пенсии, потому что в следующем письме от 1 февраля 1911 г. Владимир Ильич спешит успокоить ее, сообщая, что теперь нужды нет и что он просит ее не посылать ему денег и из пенсии своей не экономить. Сообщает он также, что продолжает получать то «жалованье» о котором говорил ей в Стокгольме. Относительно книги по аграрному вопросу Владимир Ильич сообщает, что написал Горькому и надеется на благоприятный ответ. Книгу эту так и не удалось устроить. По поводу нее же пишет, очевидно, Владимир Ильич о неудаче моих переговоров со Львовичем.

Осенью 1911 г. — в октябре-ноябре — мне удалось побывать за границей, и я провела недели две в Париже, у Владимира Ильича. Нашла, что он живет плохо в материальном отношении, питается недостаточно и, кроме того, сильно обносился. Я стала

убеждать его пойти со мною на следующее утро в магазин, чтобы купить необходимое ему зимнее пальто. Но он категорически отказался, и я, уже не ожидая его, была удивлена, когда услышала из-под окна моей комнаты, выходящей во дворик, его оклик в условленный час. Оказалось, что Надя после моего ухода убедила его принять мое предложение. При покупке Владимир Ильич отказывался от всего более дорогого, и только убеждения приказчика, что одно пальто является «inusable» (неизносимым), заставило его остановиться на нем. Но тужурку, которую я считала тоже необходимой ему, он решительно отказался покупать.

Заметила я также в это посещение Владимира Ильича, что и настроение его было менее жизнерадостным, чем обычно. Как-то раз во время прогулки вдвоем он сказал: «Удастся ли еще дожить до следующей революции?» И вид у него был тогда печальный, похожий на ту фотографию, что была снята с него в 1895 г. в охранке. Это было время тяжелой реакции: симптомы возрождения, как факты выхода «Звезды» и «Мысли», только еще намечались.

Выяснив условия посылок съестного из России за границу, я посылала ему в Париж мясное (ветчину, колбасу). По поводу домашней запеченной ветчины он выразился в одном несохранившемся письме, что это «превосходная снедь», из чего можно было заключить о разнице между этим мясом и тем, которым ему приходилось питаться в Париже. В Австрию пересылка мясного не разрешалась, и поэтому по переезде его в Краков я посылала ему рыбное (икру, балык, сельди и т. п.) и сладкое, которое он сам, конспиративно от Нади, просил послать ей. Об этих «гостинцах» упоминают в письмах от 1912 и 1913 гг. и он, и Надежда Константиновна

Как известно, никакой статьи Владимира Ильича в 1911 г. в «Современном мире» напечатано не было, но что в этом году статья его обсуждалась редакцией журнала, это подтверждает определенно Вл. Дм. Бонч-Бруевич. Только он не может вспомнить, каково было ее заглавие и что случилось с нею. А. Е.

Письма Владимира Ильича от мая и июня 1912 г. говорят об аресте сестры Марии Ильиничны и меня. Арест этот, оставивший мою мать опять — в третий раз в ее преклонные годы (ей было тогда уже 77 лет) — совершенно одну, сильно обеспокоил, как видно по письмам, Владимира Ильича.

Сестра была арестована тогда, между прочим, в связи с Пражской — в январе 1912 г. — конференцией, на которой был делегат и из Саратова, и после пяти месяцев предварительного заключения пошла на три года в Вологодскую губернию. Был дан приказ об аресте — независимо от результатов обыска — всех нас троих,

живших тогда вместе: сестры, меня и мужа моего, Марка Тимофеевича. Мы с мужем в нелегальной саратовской организации тогда не участвовали, но уже жизнь вместе была достаточна для ареста. Кроме того, имел, конечно, значение и факт постоянных сношений всех нас с Владимиром Ильичем. Из архива департамента полиции выужено пока за рассматриваемый период три перлюстрированных письма Владимира Ильича — по одному за 1910, 1912 и 1913 гг. Письма эти были посланы на прямые адреса — обычно на адрес матери. Из них только письмо 1913 г., имеющееся и в моей коллекции, не касалось совершенно политических вопросов. Письмо от 1 февраля 1910 г. рассказывает о попытке объединения с меньшевиками и о закрытии фракционного органа;<sup>3</sup> открытка от 24 марта 1912 г. могла, конечно, иметь непосредственное влияние на мой арест, так как в ней прямо повествовалось о «последней конференции» и о том, как все против нее ополчились, «так что дело буквально до драки доходило на здешних собраниях».

Марк Тимофеевич был во время производства обыска в отъезде, — разъезжал по службе страхового агента, а так как у него было больное сердце, вызвавшее осенью 1911 г. экстренную поездку в Наугейм, а в саратовской тюрьме было тогда скверное, «каторжное» положение, то мать выехала на пароходную пристань, чтобы предупредить его, и он проехал мимо Саратова и вообще поколесил по Волге до моего освобождения, которое произошло уже через три недели. Кроме того, что я в местной организации не состояла, на жандармов произвел, очевидно, впечатление слабый вид моей матери, когда она пришла хлопотать о нас. Мать рассказывала, что ей стало тогда дурно в жандармском.

С осени 1912 г., со времени переезда в Краков, настроение Владимира Ильича сильно поднялось. Он пишет, что они живут лучше, чем в Париже, — отдыхают нервы, больше литературной работы, меньше склоки. Отмечает, что Горький настроен теперь к ним менее недружелюбно, запрашивает, осталась ли нераспроданной его философская книга. «Мы бы могли, вероятно, найти теперь еще способ сбыта и договориться об этом с издателем» — и просит сообщить ему для этого адрес издателя Крумбюгеля. Пишет Владимир Ильич о предположении издавать брошюры при «Правде» и чувствует себя, видимо, уже ближе к России: зовет Марка Тимофеевича к ним на курорт, в Закопане, сообщая, что из Варшавы имеются туда прямые поезда, зовет и меня: «Если поедешь к Мите в Крым, то, я надеюсь, ты заглянешь и к нам — тут уже почти по дороге», дает мысль, что приграничные жители могут переезжать за 30 коп. Конечно, об этом я, когда мать была

исключительно на моих руках и я должна была перевезти ее в Вологду, и думать не могла. Но следует отметить также, что письмо это было перлюстрировано и что в конце доставленной нам копии из дела департамента полиции значится: «На подлинной автограф, снятый на кальку: «Крепко жму руку. Твой В. У.» О материальных условиях Владимир Ильич пишет, что они пока сносны, но очень ненадежны. Он говорит, что связей с издателями у него, увы, никаких нет. Это в ответ на письмо матери, которая писала о желательности какой-либо переводной работы для сестры Марии Ильиничны в ссылку.

Возобновляет Владимир Ильич в Поронине катание на коньках, вспоминая при этом Симбирск и Сибирь. Вообще жизнью как в Кракове, так и в предместье его, Поронине, доволен и пишет, что переселяться никуда не думает, — «разве война выгонит, но в нее я не очень верю». Последнее утверждение, что в войну он не верит, повторяется у него в письмах из Кракова дважды

С осени 1913 г. я поселилась в Петербурге, была секретарем и членом редакции журнала «Просвещение», работала в «Правде», а с основания журнала «Работница» состояла, вследствие ареста других членов редакции, фактически почти единственным редактором ее. В тот год у меня была большая переписка с Владимиром Ильичем — и химическая, по партийным делам, и главным образом по литературным, — на редакцию «Просвещение» он писал мне на псевдоним Андрею Николаевичу, а я на Deckadresse, без обращения, и подписываясь тем же псевдонимом, на который он писал мне.

Легальные письма 1914 и 1915 гг. говорят опять усиленно о приискании работы для заработка. В данном случае в заказном письме, прошедшем, как видно по конверту, через военную цензуру, Владимир Ильич просит Марка Тимофеевича устроить издание педагогической энциклопедии — работы, которую наметила себе и за которую собиралась засесть вплотную Надежда Константиновна. Из того, что с подысканием издателя Владимир Ильич просит очень поспешить, видно, что материальные условия у них с переездом в Швейцарию были очень неважны. Он просит поговорить сначала с «прежним издателем» — очевидно, с В. Д. Бонч-Бруевичем с которым я действительно говорила тогда и с которым мы и теперь припомним об этих переговорах и о том, что из них ничего не вышло. В. Д. говорит, что идея такой энциклопедии была тогда и у Веры Михайловны Бонч-Бруевич, но что провести по тем временам в жизнь ничего нельзя было. Обращались ли с этим делом мы с мужем еще к кому-нибудь или советовались ли с кем-нибудь, я теперь уже не помню. Спрашивает Владимир Ильич о журнале

«Просвещение», который мы собирались в 1914 и в 1915 г. возобновить; из этих попыток, конечно, ничего не вышло. Он огорчается ростом шовинизма в разных странах, пишет, что Плеханов, которого «опять хвалят либералы, вполне заслужил это позорное наказание», и возмущается «срамным и бесстыдным» номером «Современного мира», имея в виду статью Н. Иорданского «Да будет победа!». Очевидно, в годы войны переписка была скуднее, и многие письма пропадали. В единственной сохранившейся открытке Владимира Ильича от 1915 г. он особенно — «очень, очень и очень» — благодарит за книгу, за интереснейшее собрание педагогических изданий и за письмо. «Интереснейшим» собрание педагогических изданий было, конечно, вследствие написанного меж его строк химического письма, которое я предпочитала тогда писать в книгах и которое благополучно проскочило таким образом военную цензуру. В годы войны всякая корреспонденция в ЦК, из-за сокращения нелегальной работы, из-за отправки многих работников в ссылку, из-за большей затрудненности всяких сношений, сильно сократилась, и Надежда Константиновна писала мне в 1915 или в 1916 г. химически: «Бывало, писем по 300 в месяц получали, а теперь пишет почти что один Джемс».

Таким образом, к концу периода моей переписки с Владимиром Ильичем — во время войны — я услышала то же, что слышала в самом начале его, в годы сибирской ссылки, а именно что корреспондентом нелегальным, «химическим», так сказать, была почти только одна я.

<...>